

Песни Марьинорова

LES CHANTS DE MALDOROR

LAUTRÉAMONT
COMTE DE

Городи Марьгород

ЛОТРЕАМОН
Г П А С

ACT
Москва

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44
Л80

Граф Лотреамон

Л80 Песни Мальдорора / граф Лотреамон; пер. Н. Малевич –
Москва: АСТ, 2015. – 400 с. – (Книга non grata).
ISBN 978-5-17-087265-7.

Лотреамон – риторическая фигура европейской культуры, бездонный и утонувший внутри себя граф является мистическим союзником Рембо и Бодлера, извращенным певцом человеческого упадка. Умерший в 24 года, запрещенный, изгнанный из литературы, Лотреамон становится символом французского сюрреализма и человеческой свободы.

Как известно, плата за чтение «Песен Мальдорора» – потеря рассудка.

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-087265-7

© Наталья Малевич, перевод
© ООО «Издательство АСТ», 2015

Песнь I

[1] Дай бог, чтобы читатель, в ком эти песни разбудят дерзость, в чьей груди хоть на миг вспыхнет бушующее в них пламя зла, — дай бог, чтоб он не заблудился в погибельной трясине мрачных, сочащихся ядом страниц, чтоб смог он найти неторную, извилистую тропу сквозь дебри; ибо чтение сей книги требует постоянного напряжения ума, вооруженного суровой логикой вкупе с трезвым сомнением, иначе смертоносные испарения пропитают душу, как вода пропитывает кусок сахара. Не каждому такое доступно, лишь избранным дано вкусить сей горький плод и не погибнуть. А потому, о слабая душа, остановись и не пытайся проникнуть дальше, в глубь неизведанных земель; не вперед, а вспять направь свои стопы. Ты слышишь, не вперед, а вспять, подобно тому как почтительный сын отвращает глаза от сияющего добродетелью

лица матери, или, вернее, подобно длинному клину теплолюбивых и благоразумных журавлей, когда с наступлением холодов летят они в тишине под небесья, расправив могучие крылья, держась известного им направления, и вдруг навстречу им задует резкий ветер, предвестник бури. Старейший, летящий во главе всей стаи журавль встревоженно качает головой, а стало быть, и клювом тоже, и недовольно им трещит (еще бы, на его месте я тоже был бы недоволен), а между тем порывы ветра злобно треплют облезлую его выю, пережившую целых три журавлиных поколения, — гроза все ближе. И тогда, неспешно и тщательно обзрев горизонт своим многоопытным оком, вожак (он и никто другой облечен правом являть свой хвост взорам всех летящих позади и уступающих ему в мудрости птиц) издает унылый предостерегающий крик, как страж, отпугивающий злоумышленника, и плавно отклоняет вершину летучей геометрической фигуры (возможно, это треугольник, образуемый в пространстве занятыми перелетными птицами, но третьей стороны не видно^[1]), вправо или влево — так опытный шкипер меняет галс, — и, поворачивая крылья, что кажутся с земли не больше воробьиных, с философическим смирением ложится на другой, безопасный курс.

[2] Ты, верно, ждешь, читатель, чтоб я на первых же страницах попотчевал тебя изрядной порцией ненависти? — будь спокоен, ты ее получишь, ты в полной мере усладишь свое обоняние кровавыми ее испарениями, разлитыми в бархатном мраке; твои благородные тонкие ноздри затрепещут от вожделения, и ты опрокинешься навзничь, как алчная акула, едва ли сознавая сам всю знаменательность своих деяний и этого вдруг пробудившегося в тебе голодного естества. Обещаю, две жадных дырки на гнусной твоей роже, уродина, будут удовлетворены сполна, если только ты не поленишься три тысячи раз подряд вдохнуть зловоние нечистой совести Всевышнего! На свете нет ничего, столь благоуханного, так что твой нос-гурман, вкусив сей аромат, замрет в немом экстазе, как ангелы на благодатных небесах.

[3] Теперь скажу несколько слов о том, как добр был Мальдорор^[2] в первые, безоблачные годы своей жизни — вот эти слова уже и сказаны. Но вскоре он заметил, что по некоей фатальной прихоти судьбы был создан злым. Долгие годы в меру сил скрывал он свою натуру, но это длительное, неестественное напряжение привело к тому, что ему стала каждый день бешено бросаться в голову кровь, так что наконец, не выдержав муки, он всецело предался злу.. и задышал полной грудью в родной стихии! Подумать страшно: всякий раз, как Мальдорор касался губами свежих щечек ребенка, он испытывал желание исполосовать их острой бритвой, и он охотно сделал бы это, не останавливая его Правосудие с его грозным арсеналом наказаний. Но он не лицемерил, он прямо говорил, что жесток.

Вняли ль вы его словам, о люди? Вот теперь он повторяет свое признание на бумаге, и перо дрожит в его руке! Увы, есть сила помощнее воли... Черт побери! Что бы вы сказали, если б камень вздумал вдруг противиться закону тяготенья? Ах, это невозможно? Но так же невозможно злужить в ладу с добром, хотя б оно того и пожелало. К тому я и клоню.

[4] Иные пишут для того, чтобы заставить публику рукоплескать своей добродетели, напускной или подлинной. Я же посвящаю свой талант живописанию наслаждений, которые приносит зло. Они не мимолетны, не надуманы, они родились вместе с человеком и вместе с ним умрут. Или благое Провиденье не допустит, чтобы талант служил злу? Или злодей не может быть талантлив? Мое творение покажет, так ли это, а вы судите сами, была бы охота слушать... Погодите, у меня, кажется, встали дыбом волосы, ну, да это пустяки, я пригладил их рукой, и они послушно улеглись. Так вот, каватины, которые певец исполнит перед вами, не новы, но то и ценно в них, что все надменные и злобные мысли моего героя каждый обнаружит в себе самом.

[5] Я насмотрелся на людей, и все они, все до единого, тщедушны и жалки, все только и делают, что вытворяют одну нелепость за другой да старательно развращают и отупляют себе подобных. И говорят, что все это — ради славы. Глядя на эту комедию, я хотел рассмеяться, как смеются другие, но несмотря на все старания, не смог — получалась лишь вымученная гримаса. Тогда я взял острый нож и надрезал себе уголки рта^[3] с обеих сторон. Я было думал, что достиг желаемого. И, подойдя к зеркалу, смотрел на изуродованный моею же рукою рот. Но нет! Кровь так хлестала из ран, что поначалу было вообще ничего не разглядеть. Когда же я взгляделся хорошенько, то понял, что моя улыбка вовсе не похожа на человеческую, иначе говоря, засмеяться мне так и не удалось.

Я насмотрелся на людей, жуткорожих, с запавшими глазами, они бесчувственнее скал, тверже литой стали, злобнее акулы, наглее юнца, неистовей безумного убийцы, коварнее предателя, притворней лицедея, упорнее священника; нет никого на свете, кто был бы столь же скрытен и холоден, как эти существа, им нипочем ни обличенья моралистов, ни справедливый гнев небес! Я насмотрелся на таких, что грозят небу дюжим кулаком — так угрожает собственной матери испорченный ребенок, — верно, злой дух подстрекает их, жгучий стыд превратился в ненависть, которою горит их взор, они угрюмо молчат, не смея выговорить вслух своих святотатственных мыслей, полных яда и черной злобы, а милосердный Бог глядит на них и сокрушается. Насмотрелся и на таких, которые с рожденья до смерти, каждый день и час, изощряются в страшных проклятиях всему живому, себе самим и своему Создателю, которые растлевают женщин и детей, бесстыдно оскверняя обитель целомудрия. Пусть вознегодует океан и поглотит разом все корабли, пусть смерчи и землетрясения снесут дома, пусть нагрянет мор, глад, чума и истребит целые семьи, невзирая на мольбы несчастных жертв. Люди

этого и не заметят. Я насмотрелся на людей, но чтобы кто-нибудь из них краснел или бледнел, стыдясь своих деяний на земле, — такое доводилось видеть очень редко. О вы, бури и ураганы, ты, блеклый небосвод — не пойму, в чем твоя хваленая красота! — ты, лицемерное море — подобие моей души, — о вы, таинственные земные недра, вы, небесные духи, и ты, необъятная вселенная, и ты, Боже, щедрый творец ее, к тебе взываю: покажи мне хоть одного праведного человека!.. Но только прежде приумножь мои силы, не то я могу не выдержать и умереть, узрев такое диво — случается, еще и не от такого умирают.

[6] Две недели надо отращивать ногти. А затем — о сладкий миг! — схватить и вырвать из постели мальчика, у которого еще не пробился пушок над верхней губой, и, пожирая его глазами, сделать вид, будто хочешь откинуть назад его прекрасные волосы и погладить его лоб! И наконец, когда он совсем не ждет, вонзить длинные ногти в его нежную грудь^[4], но так, чтобы он не умер, иначе как потом насладиться его муками? Из раны потечет кровь, ее так приятно слизывать, еще и еще раз, а мальчик все это время — пусть бы оно длилось вечно! — будет плакать. Нет ничего лучше этой горячей крови, добытой так, как я сказал, — ничего, кроме разве что его же горько-соленых слез. Да разве тебе самому не случалось попробовать собственной крови, ну хотя бы лизнуть ненароком

порезанный палец? Она так хороша, не правда ли, поскольку не имеет вкуса. Теперь припомни, как однажды, когда тебя одолевали тягостные мысли, ты спрятал скорбное, мокрое от текущей из глаз влаги лицо в раскрытой ладони, а затем невольно поднес эту ладонь, эту чашу, трясущуюся, как бедный школьник, что затравленно смотрит на своего бессменного тирана, — ко рту, поднес и жадно выпил слезы? Они так хороши, не правда ли, остры, как уксус. Как будто слезы самой любящей из женщин; и все же детские слезы еще приятней на вкус. Ребенок не предаст, ибо не ведает зла, а женщина, пусть и любящая, предаст непременно (я сужу, опираясь на логику вещей, потому что сам не испытал ни любви, ни дружбы, да, верно, никогда и не принял бы ни того, ни другого, по крайней мере, от людей). Так вот, если собственные кровь и слезы тебе не претят, то отведай, отведай без опаски крови отрока. На то время, пока ты будешь терзать его трепещущую плоть, завяжи ему глаза, когда же вдоволь натешись криками, похожими на судорожный хрип, что вырывается из глотки смертельно раненных на поле брани, тогда мгновенно отстранись, отбеги в другую комнату и так же шумно ворвись об-